

**поющие
рельсы
талдома**

повесть

1

она когда-нибудь напишет книгу обо всем об этом, но пока она не хочет ее писать, пока все на уровне ощущений, а значит, почти ложно. Ей было непросто, наверное, будет еще хуже, и, конечно, будет лучше, в этом даже у нее нет никаких сомнений, хотя сомнение — цемент ее жизни. Без сомнения она бы распалась, ровно так же случилось бы, если бы она сомневалась. Она распадается и чувствует это. Конечно, никто этого не замечает. Ей под сорок, она хороша собой, хороша для себя даже в процессе распада. У нее все в порядке со здоровьем, она прошла диспансеризацию от института, в котором она работает старшим лаборантом. Эти подробности не важны — как бы их избежать? В ее будущей книге не будет магистрального сюжета и бытовых подробностей, это вряд ли будет кому-то интересно, кроме нее, она это понимает.

Эта самая лаборантская работа не ее потолок, напротив, это эскиз видимости хоть какого-то нормального жизненного устройства в ненормальном мире, она дает ей возможность думать в свободное время (его до странности много). Она не позволяет закрутить себя в водоворот сплетен и интриг, она исполняет свое дело добросовестно и в срок, приходит и уходит, приходит и уходит. Ее лицо не запоминается с первого раза, многие думают, что она — вечная новенькая. Как и здесь в Талдоме.

«Как много в мире зла!» — повторяла она, когда ее обманули: она арендовала квартиру в интернете, вступила в переписку с хозяйкой (миловидная женщина в обнимку с двумя сыновьями-подростками), внесла залог за одну ночь, ей должно было хватить только одной ночи в Талдоме, но хозяйка квартиры, аккуратно отвечавшая на сообщения, в подробностях описывая однушку в микрорайоне Юбилейный, испарилась, внесла ее в черный список, не давая возможности даже послать куда подальше. Скорее всего, под видом женщины был какой-нибудь утырок, сосущий через трубочку чужие деньги. Подавись. «Глобализация зла! Легитимность зла!» — говорила она. Если ты не умеешь множить зло себе во благо, то ты недочеловек. «Ты — недочеловек», — шептала обида. Вокруг война, а тут всего лишь плевков в душу в размере трех тысяч, это такая мелочь, но от этой мелочи по-прежнему гадко, как и в довоенное время, притворяющееся мирным. Быть обманутой хозяйкой фейковой квартиры в Талдоме — об этом не споют рельсы, об этом не напишут книгу, только если какую-нибудь повесть.

В свободное от лаборантской работы время она занимается литературой, что-то пишет в заметках, но все, что она пишет, пока замуровано внутри, заблокировано, оно

(ненаписанное) то ли зреет, то ли разлагается без запаха, может быть, она теряет время и зря надеется на его ход, а может быть, ее (книги) время еще не пришло. Пока же она учится слышать песни железнодорожных рельсов. Днем, стоя в тамбуре электрички, она услышала разговор двух контролеров. Это были быстро лысеющие мужчины, по-видимому накоротке друг с другом. Они говорили друг с другом на «вы». В совокупности с наглаженной формой это производило на нее какой-то трогательно-оптимистический эффект, привет из какой-то другой реальности.

Первый контролер. Вы слышали, рельсы опять поют?

Второй контролер (*вслушиваясь, блаженно прищуривается*). Да... давно не пели.

Входит третья контролер.

Третья контролер (*разводит руками*). Из туалета река течет опять.

Второй контролер (*поет, голос неплох*). Издалека в Талдом плывет река...

Ему не дают закончить, и вряд ли бы он подобрал подходящую рифму. Она, стоявшая в тамбуре и смотревшая на это контролерское трио, не смогла подобрать.

Первый контролер вдруг снимает пиджак и начинает размахивать им, как тореодор, а быка нет. Третья контролер складывает руки на груди («Нашел корову», — думает), ждет шутку от первого контролера, тоже прищуривается и готовит рот для смеха (не описать, надо видеть).

Первый контролер (*трясет пиджаком*). Давай мне швабру — тряпка готова!

«Могут ли за такое отношение к форме посадить?» — думает она. Нет, не третья контролер, а Она — гостья Тал-дома, автор ненаписанной книги. Могут, конечно.

Она сходит с подножки поезда. Никто не подал руки. Контролеры скрылись. Река течет. Рельсы молчат.

2

До заселения в фейковую квартиру еще два часа (она еще не обманута, она хотела снять гостиницу, но единственная гостиница в городе была забита под завязку). За время поездки на электричке (почти три часа) она проголодалась и решила зайти в первое попавшееся кафе — кажется, оно было и первым и последним. Кафе специализировалось на приготовлении пиццы, суши и лапши вок, в основном навынос.

Она. Скажите, что быстрее всего готовится?

Официантка (она же кассирша). Пицца и роллы до тридцати минут, лапша — пятнадцать.

Она. Давайте лапшу.

Официантка. Какую?

Она. Любую с курицей.

Официантка. В сливочном соусе устроит?

Она. Да. И капучино.

Официантка. Я машину мою (*показывает на кофемашину*).

Она. Когда вымоете?

Официантка. Не знаю... Не сегодня... Я второй промыв делаю.

Она. Хорошо. Тогда кока-колу в баночке.

Официантка. Кола «Добрый» только.

Она. Хорошо.

Официантка. Садитесь. Я позову, как будет готово.

«Официантка сама не подает, поэтому будет разжалована в просто кассиршу», — думает она. И это ее «ся» засело. До конца дня она будет добавлять его ко всем глаголам: улыбнулась, обернулась, посмотрелась, разочаровалась, отвернулась.

За соседним столиком сидит группа подростков, точнее, три группы, сформированные вокруг телефонов. Подростки смеются тик-токам, на столе валяются разноцветные объедки: краешки пиццы, остатки роллов «Филадельфия», пустые бутылки с доброй кока-колой. Подростки синхронно ржут без какого-либо стеснения, а в спокойном состоянии (до взрыва смеха) их рты дебиловато приоткрыты. Вот и не скажешь по-другому. Это сказано даже мягче, чем оно есть.

Один из подростков. Фу... блять, кто пернул?

Все резко разбегаются из-за стола. Остается только один полноватый парень в наушниках, который все пропустил и не вдуляет, почему вдруг все разбежались.

Один из подростков. Это он! Он!

Парень снимает наушники и спрашивает: «Че, блять, случилось?»

Она смотрит на них, ждет свою лапшу с курицей в сливочном соусе. Она понимает, что, если бы Рабле жил в наше время, он бы знал, что делать с этими ребятами на страницах своих текстов. Ей не противно от увиденного, не стыдно (это все просто и ожидаемо), ей удивительно в самом высшем смысле этого слова: ведь эти подростки ее видят, но для них она как предмет интерьера, как вот

эта пластмассовая горка в игровой зоне, куда подростки удалились после выяснения, кто же испортил воздух. Это был тот, кто и задал вопрос (отработанная схема). Им по тринадцать-четырнадцать лет — думает она, хотя она никогда не могла верно определить возраст детей и забывала, сколько лет ей самой. Она не была в Талдоме двадцать лет. Вот эту цифру она помнила и уже от нее выстраивала систему других цифр своей жизни.

Кассирша. Девушка, лапша!

Она. Спасибо!

Лапша могла быть и получше. В Москве она бы не стала ее есть (странный соус), но сейчас ела, доведя процесс до бездумного автоматизма. Вариантов нет. Хорошая кока-кола должна была убить ненужные микробы в ее желудке и способствовать пищеварению.

Вдруг одна из девочек с криком «у меня началось!» выбегает из игровой зоны и бежит по направлению к выходу (там же находится и уборная).

Затем она слышит такой диалог, сказанный отнюдь не шепотом, а так, чтобы та, убежавшая, тоже все слышала:

— Ты че, не видела? Она вся мокрая там.

— Фу, реально?

— Ну, у нее легинсы черные, поэтому ни хрена не видно.

— Капец.

Девочка (как назвать по-другому?) возвращается: потная, испуганная, со странной улыбкой на лице. Один из парней (вроде тот самый в наушниках, но она на самом деле уже запуталась, глядя на них, они все слились для нее в одно страшное лицо с полуоткрытым ртом, на которое не должно хотеться смотреть, но оторваться и не видеть его тоже невозможно) спрашивает:

— Ты че, беременная? Тошнит тебя, что ли?

Взрыв смеха. Эхо от взрыва дикого смеха. Стены кафе отделаны армированным железом, и это эхо особенное, железное.

Кассирша бросает свое безвольное:

— Так, быстро успокоились!

Это «успокоились» тонет в ржаче, так и не долетев до умов и душ юных посетителей кафе.

Убегавшая и вернувшаяся не заставляет себя долго ждать с ответом:

— Да. Скоро рожу. От тебя.

Парень в наушниках выматерился: «Да ну нах» и нахлобучил наушники, потом снова их снял и сказал девочке, как отрезал: «Ебанутая». Все замолчали и, видимо, согласились со сказанным. Никто не вступился. Прежнее веселье и вольготность мгновенно съелись произошедшим, подростки вывалились толпой на улицу, в зале остались только две девочки. Та, с которой случилась неприятность, и другая, по виду чуть старше. Наверное, они были подругами, но та даже не думала ей посочувствовать.

— И че там у тебя опять?

— Третий день. А я ничего не взяла.

— У меня нет с собой. Че ты так на меня смотришь?

— Он ко мне вчера приставал, а я сказала, что...

— Все, хватит. Пошли.

Она поняла, что речь идет о парне в наушниках. Да она уже давно все поняла. Не доела лапшу, не допила колу, голод ушел, но пришла и «поселилась» в голове невозможность осмыслить увиденное. Наверное, и не надо пытаться. Это как в телевизоре, ты смотришь, понимаешь, что не хочешь «это» смотреть, переключаешь канал и ви-

дишь белый шум, переключаешь вперед, назад, везде белый шум, работает только один, тот самый канал с «этим», ты хочешь выключить телевизор, но кнопка выключения на пульте не работает. Тогда ты подходишь к телевизору и пытаешься его выключить, но кнопка на панели кем-то вдавлена. Тогда ты выключаешь телевизор из сети.

Она давно не смотрит телевизор. В прошлый свой приезд в Талдом она еще смотрела телевизор, искренне любила комедии на телеканале СТС и обожала пересматривать «Сабрину — маленькую ведьму». Но это все подробности и детали прошлого. Можно обойтись и без них.

Неужели она была такой же, как эти раблезианские дети-недети. Ведь мало что меняется, она это понимала, но не узнавала себя — в них.

Она. Девочка, извини, пожалуйста, можно тебя на минутку?

Девочка-недевочка робко подходит к ней, постоянно оборачиваясь на свою подругу-неподругу.

Девочка-недевочка (*пряча за спину гигиенические принадлежности*). Спасибо вам огромное. Извините.

Девочка-недевочка пытается покраснеть, кажется, что ей немного, но стыдно. Она возвращается к подруге-неподруге, шепчет ей что-то, потом они обе прыскают смехом.

Она выкидывает коробочку с остатками лапши и бутылку доброй колы в мусорный контейнер и выходит из кафе.

3

Она не знает, как выглядит Талдом весной, боится представить, как здесь зимой (она не любит холод и сырость). Двадцать лет назад был август, точно как и сейчас,

природа пытается скрыть черты увядания, маскируется, припекает солнцем, камуфлирует неминуемую гибель. Да, затем снег, смерть снега и какое-то новое рождение чего-то нового, а то безвозвратно отцвело, но прежде успело многое. Вот и она должна успеть. В глобальном, космическом смысле. В бытовом до фейкового заселения — час, и она пошла в краеведческий музей. Она не хочет торопиться, это только ускоряет распад.

Каменное двухэтажное здание с кованым балкончиком в центре города обвито виноградником (или каким-то другим обвивающим растением). Дверь, ведущая на балкон, открыта, тюлевая белая занавеска колышется, все пространство вокруг вдруг поэтизируется, не хватает звуков старинного фортепиано. Она так не любила манерную пошлость, всегда была приземленной, сомневающейся в напускной декоративности, но сейчас вся эта колышущаяся, вздувающаяся на ветру фальшь говорила ей: «Бояться нечего», и эта поддержка была такой неожиданной и «в точку».

По деревянной лестнице (ступени стерты от вековой эксплуатации) она поднялась наверх к кассе, купила билет по куар-коду, выслушала речь милой женщины-смотрительницы об истории музея (три вводных предложения, наполненные гордостью).

Смотрительница спросила ее:

— Вы из Москвы?

— Да.

— Все поня-а-атно... (Она неприкрыто перешла из любезного регистра в брезгливо-вглядывающийся.) — Столи-и-ичная.

«Вот что тебе понятно? Что?» — спросила она саму себя, быстро переходя со смотрительницей на панибратское «ты».

Она достает телефон, проверяет уведомления.

Смотрительница. У нас фотосъемка платная.

Она. Сколько?

Смотрительница. Сто тысяч.

Она представила сто тысяч (это представляется мгновенно) и, конечно, засмеялась. Смотрительница нервно дернулась, поправив заградительную веревочку.

Она. Оплата также по коду?

Смотрительница. Нет, переводом...

Взгляд смотрительницы говорил одно: все понятно, все понятно...

Наверное, в этом музее было много любопытного, но взгляд отказывался фиксироваться на чем-то. Как и прежде, притягивала занавеска (уже с другого ракурса, изнутри дома она казалась банальной и без капли поэзии, этим она ее зацепила даже больше, и фортепиано с коваными подсвечниками стояло рядом).

Заплатив за съемку, она решила фотографировать только себя, в разных ракурсах, с разных сторон, вырывая из контекста своей внешности то одно, то другое: уши, которые она всегда прятала за каре; нос, который растет, как выяснилось, всю жизнь, и она этот рост замечает; высокий лоб (двадцать лет назад она пробовала его выбривать, приподнимая лоб еще выше, ей казалось, что это модно, сейчас лоб как лоб, обычный высокий лоб); родинка на шее (она не боялась родинок); грудь, в которой ее тоже все всегда устраивало. Какие-то фото смазывались, и этим ей нравились еще больше. Так фиксируется ее распад, ее медленное, но верное размазывание по плоскости жизни. Смотрительница, которая давно «все поняла», теперь смотрела на нее с интересом, понимая, что только ей она может предложить взглянуть на сувенирную про-

дукцию. «Она — наш клиент», — думала смотрительница, глядя на эту адептку селфи.

Сквозь зеркальную витрину на нее посмотрел фарфоровый клоун. Он держал руку у рта, глаза были чуть вытаращены, в вытянутой руке болтался горшок.

Она. Его тошнит?

Смотрительница: Почему это тошнит? («Все понятно» — в новой интонационной внутренней модификации.) Он зеваает... и держит в руке ночной горшок...

Она. Горшок полный?

Смотрительница. Все понятно... вот еще у нас есть магнитики и календарики...

Она. Я возьму клоуна с ночным горшком..

Смотрительница (через паузу). Он же вам не понравился?

Она. С чего вы взяли?

Смотрительница. Четыреста пият.

Четыреста пият — это вам не сто пият. Имеет ли количество значение? Переходит ли оно в качество?

Она перевела деньги за клоуна, смотрительница старательно упаковала его в крафт и даже прониклась каким-то добродушным сожалением к покупательнице.

Каких только не носит на себе наш земной шар! Надо принимать этот мир со всем его великолепием и темнотой. Смотрительница мыслила глобально и хотела философски обобщить весь прожитый день. (Она была последней посетительницей музея.)

Она. До свидания.

Смотрительница. Привет Москве.

Она. Передам.

Она выходит из музея, заказывает такси, еще раз открывает переписку с хозяйкой квартиры, чтобы уточнить

пункт прибытия. И видит: «Пользователь ограничил круг лиц, которые могут ему написать».

Пользователя зовут фейковым Мирослава Назарова.

Она сочувствует женщине, чьи фотографии используются для создания образа «хорошей хозяйки, любящей своих деток».

Она сочувствует женщине.

Она сочувствует женщине, но не испытывает никакой жалости к себе. Рельсы берут дыхание для первого звука, рожденного из обмана, из тишины.

4

Она свернула от центра по направлению к частному сектору. Она ничего не припоминала, взгляд переходил от домика к домику: где-то живут, что-то давно заброшено, что-то заброшено, но там продолжается жизнь. Что-то так же, как и она, распадается, как трухлявое дерево, слоится и отходит никому не нужными напластованиями. Они становятся бездомными. Тут мог быть и ее дом.

Она вышла к кирпичному одноэтажному зданию, похожему на склад. Да, это городские бани, почему-то во множественном числе, наверное, имеется в виду женская и мужская, она никогда об этом не думала. Она садится на лавочку напротив бань, курит айкос, смотрит в кирпичную белую стену. В детстве на таких стенах она любила написать ключом что-нибудь бестолковое, что из года в год будет на этом самом кирпиче напоминать о твоей прошлой бестолковости. Вот что бы она сейчас написала на этом щербатом, податливом к чужим писаниям кирпиче?

Ничего. Она не хочет писать ни книгу, ни оставлять следов на кирпиче. Она пока еще все остро ощущает, она хронически предчувствует встречу. Она готовилась к ней все эти двадцать лет. И могла готовиться еще дольше, но тут что-то дернуло, и она здесь. Вот это что-то... что оно?

К баням подъезжает мужчина на колесах. У него нет ног, он передвигается на доске, отталкиваясь мускулистыми руками. Мужчина буднично подъезжает к баням, она смотрит на него и курит, ей кажется, что она могла бы чем-нибудь ему помочь, но он всем своим видом воплощает мужество, его концентрат, он вернулся с войны, думает она, впрочем, разве это важно. Мужчина достает сигарету из нагрудного кармана, зажимает ее в губах (концентрат мужественности сгущается), по его движениям она понимает, что он ищет зажигалку, по его движениям она понимает, что он не может ее найти. Мужчина подъезжает к ней, она идет на опережение и роется в своей сумке, где должна была быть зажигалка.

Мужчина на колесах. Огонька не найдется?

Она. Сейчас... должна где-то быть...

Мужчина на колесах. Покорно вас благодарю.

Она останавливает поиск, смотрит на него. Теперь он был на расстоянии вытянутой руки. Загорелый, выжженный на солнце. Коричневые ресницы. Желтоватые зубы. Щетина, шрам над бровью. Комар, севший на лоб.

Она. У вас комар.

Мужчина на колесах. Пусть пьет мою кровь, мне не жалко.

Она находит зажигалку, прикуривает мужчине и ждет, когда мужчина на колесах уедет, ей хватает этого взгляда-вания, концентрат мужественности в ее голове разбавляется трагедией на расстоянии вытянутой руки.

Но мужчина на колесах продолжает разговор.

Мужчина на колесах. Я могу вас попросить...

Она. Да...

Мужчина на колесах. Я сейчас буду подтягиваться...

Она. Хорошо... *(Она не знает, что еще сказать.)*

Мужчина на колесах. Вы можете считать? А то я сбиваюсь. У меня три подхода, и потом я пойду... в баню.

Он смеется, она видит, что некоторые зубы у него отсутствуют, но это не уродует его облик.

Она. Хорошо.

Мужчина на колесах. Покорно благодарю.

Мужчина на колесах отъезжает от нее и движется по направлению к турнику, который приварен к той же кирпичной стене. Она думала, что это газовая или какая-то другая труба. Турник был сделан специально для него, не может быть, что это случайность.

Мужчина на колесах тянется и виснет на турнике. Доска ждет его возвращения.

Мужчина на колесах *(кричит, так как между ними расстояние)*. Ну, поехали!

Он подтягивается. Она смотрит. В последнее время у нее развилась дальнзоркость. Списывала на последствия ковида, зрение не проверяла. Она видела силуэт мужчины — то поднимающийся, то опускающийся. Она не думала о его остервенелом упорстве и желании жить, она смотрела на расплывающийся контур его плечевого пояса и считала.

Мужчина опускается на колеса, тяжело дыша.

Мужчина на колесах *(кричит)*. Сколько?

Она *(кричит)*. Пятнадцать!

Ее голос кажется ей визгливым.

Мужчина на колесах. Можно еще два подхода?